

УДК 81.161.1

**ВЕРБАЛИЗОВАННАЯ ИСТОРИЯ:  
 К ВОПРОСУ О ТОЛЕРАНТНОСТИ  
 ИСТОРИЧЕСКОГО ДИСКУРСА\***  
**Е.А. Бобко (Санкт-Петербург, Россия)**

(\* Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 12–24–20000 а/м)

**Е.А. Бобко. Вербалізована історія: к вопросу о толерантности исторического дискурса.** В статье анализируется специфика продуцирования и вербализации исторического знания. Теоретические рассуждения и эмпирические наблюдения направлены на раскрытие связи между конвенциональными нормами и предписаниями, действующими в сфере общественнонаучного знания, с одной стороны, и индивидуальными мотивами историков как субъектов познания и речи, с другой стороны. Особое внимание уделяется толерантности как критически важному свойству исторического дискурса, находящегося на грани между наукой и идеологией и в силу этого подчиненного противоположным тенденциям – научной толерантности и идеологической ангажированности.

**Ключевые слова:** исторический дискурс, вербализация знания, общественнонаучное знание, познавательный этос, идеологическая ангажированность, толерантность.

**О.О. Бобко. Вербалізована історія: до питання про толерантність історичного дискурсу.** У статті аналізується специфіка продукування та вербалізації історичного знання. Теоретичні міркування та емпіричні спостереження спрямовані на розкриття зв'язку між конвенціональними нормами і приписами, чинними в сфері суспільнонаукового знання, з одного боку, та індивідуальними мотивами істориків як суб'єктів пізнання й мови, з іншого боку. Особлива увага приділяється толерантності як критично важливій властивості історичного дискурсу, що знаходиться на межі між наукою та ідеологією і через це підпорядковується протилежним тенденціям – науковій толерантності та ідеологічній ангажованості.

**Ключові слова:** історичний дискурс, вербалізація знання, суспільнонаукове знання, пізнавальний етос, ідеологічна заангажованість, толерантність.

**Ye.A. Bobko. Verbalized history: focus on tolerance of historical discourse.** This article analyzes specific features inherent in producing and verbalizing historical knowledge. The theoretical arguments and empirical observations are aimed to explain the relations between conventional regulations applied to social science, on the one hand, and

individual motivation of historians as actors of cognition and communication, on the other hand. Special attention is paid to tolerance as a critically important quality of historical discourse being on the borderline both with science and ideology and, therefore, simultaneously exposed to opposite trends of scientific tolerance and ideological bias.

**Key words:** historical discourse, knowledge verbalization, social science, cognitive ethos, ideological bias, tolerance.

**Предметом** данной статьи является содержательно-тематическая общность текстов, вербализующих историю. Такие тексты мы будем называть историческими, а их совокупность предлагаем рассматривать в качестве специального типа дискурса.

**Материалом** анализа послужил текстовый корпус по истории России XX в. в изложении зарубежных историков, представленный, с одной стороны, работами, написанными в духе научно-академической историографической традиции (например, Lowe N. *Mastering Twentieth-Century Russian History*; Pares V. *A History of Russia*), а с другой – историческими изданиями публицистической направленности (например, Conquest R. *Russia After Khrushchev*; Harvey R. *Comrades. The Rise and Fall of World Communism*).

Лингвистическое исследование текстов, посвященных описанию и осмыслению человеческой истории, требует применения адекватного методологического и терминологического аппарата. Определение совокупности текстов, направленных на реконструкцию социально-исторической действительности, в терминах исторического дискурса, позволяет, на наш взгляд, акцентировать как собственно коммуникативно-языковое, так и процессуально-деятельностное, социокультурное измерение исторического знания, особенности его продуцирования и вербализации.

С исследовательской точки зрения, исторический дискурс интересен тем, что он является олицетворением социально-гуманитарного познания и соответствующих процессов языкового формулирования социогуманитарной, общественно-исторической мысли. Закономерно возникает вопрос о том, как в рамках данной языковой формации канонические дисциплинарные требования сочетаются с интенциями субъектов познания – историков и публицистов. Общественно-историческое сознание формируется под влиянием идей, принадлежащих конкретным личностям, но и сами они вынуждены подчиняться коллективно выработанным нормам. Иными словами, речь идет об особом соотношении в рассматриваемом типе дискурса черт индивидуального и конвенционального. **Цель** данной статьи – показать связь между предписаниями и установками исторического дискурса, с одной стороны, и индивидуальными мотивами и языковой компетентностью историков, с другой стороны.

Знание о прошлой социальной реальности конструирует эту реальность. Но для того чтобы общество признало ту или иную конструкцию в качестве реальности, признало то или иное «мнение» о прошлом в качестве знания,

эта конструкция (знание) должна соответствовать определенным правилам, критериям, стандартам. Современное историческое знание не является исключением – оно должно отвечать ряду требований, предъявляемых к общественнонаучному знанию в целом [Савельева, Полетаев 2003: 244].

В сфере общественнонаучного знания действует познавательный этос – блок ценностных факторов, обеспечивающих способ формирования и удостоверения истины. К ним относятся внутренняя непротиворечивость, критикуемость, строгость, однозначность, эмоционально-экспрессивная нейтральность, свобода от субъективизма, предвзятости и т.д. В исторический дискурс, таким образом, вплетены механизмы регулирования, регламентирования, реагирования, вводящие систему гносеологических предпочтений и удостоверяющие ценность, достоинство единиц знания. Каноны общественнонаучного знания, согласно концепции В.В. Ильина, можно рассматривать как совокупность трех множеств. Первое – группа универсальных предписаний: формальная непротиворечивость, причинно-следственная связность, интересубъективность и др. Второе – группа исторически преходящих нормативов, которые определяют объяснительный, интерпретативный, смыслообразовательный процесс, в том числе, требования к онтологическим, гносеологическим допущениям, картинам мира, исследовательским программам, идеалам знания. Третье – группа дисциплинарных требований узкого характера, специфичных для данной отрасли знания. Они отображают не типические, а частные параметры знания [Ильин 2011: 8–20; 52–55].

Что касается последнего блока факторов, то в области социально-гуманитарной – в т.ч., исторической – методологии, как констатирует В.В. Ильин, обнаруживается явная нехватка ясных методологических регулятивов, нормирующих, целеориентирующих, направляющих искания. В этой связи В.В. Ильин формулирует следующие правила, подключающие ученого-гуманитария к положительно зарекомендовавшим себя в науке типовым методам и приемам генерации знания: 1) принцип терпимости: этическая толерантность к продуктам научного творчества; 2) принцип условности: понимание относительности научных результатов; признание того, что сопоставительно с наличным знанием возможны более адекватные решения); 3) принцип аполитичности: эпистемологическая реалистичность, автономность, самодостаточность, система запретов на использование идеологием, мифологием, ориентаций на предрассудки общественного, массового, утопического сознания; 4) принцип антиактивизма: отказ от деятельностной, политической ангажированности; 5) принцип гуманизма: отсутствие гипертрофии имперсонализма [Ильин 2011: 122–127].

Примечательно, что традиционно одним из критериев оценки исторического сочинения выступала оценка личности его автора. Признание того или иного исторического труда в качестве «истинного», «достоверного» и т.д. в значительной степени определялось – и отчасти продолжает

определяться – уровнем доверия к его автору. Сочинения «авторитетного» историка считаются «заслуживающими доверия». В Средние века, когда не существовало устойчивого профессионального сообщества, авторитет автора мог быть подтвержден каким-либо влиятельным лицом: императором, епископом, церковным капитулом, светским государем. Позднее эта система упростилась, и в обиход вошел термин «одобренный», применявшийся уже не столько к авторам, сколько к конкретным книгам. Следствием практики «одобрения» явилось возникновение официальной или государственной историографии, а затем и введение должностей официальных историографов, которые во многих странах Европы просуществовали до конца XIX в. В неофициальном виде «официальная» историография сохранялась вплоть до конца XX в. Также при оценке личности автора того или иного исторического сочинения традиционно учитывается его групповая принадлежность и внутригрупповой статус. Издавна внимание обращалось на происхождение и социальное положение. Начиная с Реформации существенную роль стало играть вероисповедание, с XVIII в. значимость приобретает национальность, а с XIX в. – партийная позиция историка. Влияние групповой идентификации на индивидуальные дискурсы и, соответственно, на оценку этих дискурсов, было особенно сильным во второй половине XIX – первой половине XX вв. В настоящее время главным показателем считается уровень квалификации. В современной исторической науке выработана разветвленная система прямой и косвенной оценки уровня квалификации историков. Прежде всего, речь идет о «цеховой» квалификационной системе: профессиональное образование, научные степени, членство в различных профессиональных обществах, место работы, занимаемая должность, список публикаций и отзывов на них и т.д. [Савельева, Полетаев 2003: 398–400].

Подчиняясь требованиям конвенциональных норм и предписаний, процесс исторического познания, вместе с тем, требует значительной степени свободы ума, фантазии, воображения. Многовариантность изложения истории неустраима. Историк обладает самостоятельностью при решении композиционных задач: исторические сюжеты имеют свою завязку, кульминацию, развязку. Действие разворачивается в различных аспектах и в разных местах, изложить их в виде единой последовательности невозможно, поэтому сложна цепочка исторических образов, структура которой в границах, порожденных действительностью, определяется, помимо всего прочего, индивидуальным мастерством историка.

Диалектика индивидуального и конвенционального в историческом дискурсе непосредственным образом влияет на когнитивно-коммуникативные стратегии авторов исторических сочинений – субъектов исторического познания. Это сказывается на процессе вербализации исторического знания, выборе языковых единиц и их организации в текстовое целое. При этом особую актуальность приобретает оппозиция толерантность / интолерантность

исторического дискурса. Историческое знание фиксируется и существует в формулировках, в языковых выражениях. Соответственно, толерантность в историческом дискурсе может выражаться осознанно, посредством использования специальных коммуникативных средств, или неосознанно, как фоновое качество речи. В любом случае оно формируется на текстовой основе и является свойством целого текста. Толерантность / интолерантность исторического дискурса проявляется в речевом поведении автора исторического текста.

Толерантность является необходимым условием получения исторического знания. Вся сложность толерантного изображения прошлого заключается в том, что, «научившись мысленно вживаться в прошлое, историк должен в то же время оставаться человеком своего собственного времени, он должен уметь думать как люди, жизнь и общество которых он исследует, и думать не так как они, наблюдать со стороны. Последнее необходимо, чтобы он мог знать больше, чем могли знать в исследуемый период. Самым трудным, может быть, окажется понимание именно не отдаленных, а наиболее близких периодов, непосредственного прошлого, ибо непосредственное прошлое – своя собственная жизнь, жизнь современного общества, и смотреть на современность не только как участник, но и как «посторонний» почти невозможно, а часто и оскорбительно для современников, особенно когда речь идет... о главном в общественном устройстве, вообще о центральных проблемах человеческой деятельности» [Лооне 1980: 95]. Для корректного, рационального понимания деяний людей прошлого, «нам нужно уметь использовать их оценки и ценностные представления как бы они сами это делали. Но понимать – не значит оправдывать или осуждать. Предпосылкой рационального отношения и оценивания является понимание, но понимания (знаний) самого по себе мало, чтобы давать оценки. Историческая оценка прошлого именно тут: оценка прошлого с точки зрения настоящего при одновременном понимании различия прошлых и настоящих критериев оценки» [Лооне 1980: 133–134].

Важно подчеркнуть, что категория толерантности – синтезирующая, интегративная категория, поэтому рассматривать ее следует в соотношении с другими категориями: оценочность, категоричности / некатегоричности, ангажированность / неангажированность. Интолерантность в сфере исторического познания имеет ярко выраженную идеологическую основу наряду с причинами эпистемологическими (конфликт различных теорий и концепций, через призму которых осуществляется интерпретация фактов), психологическими (конфликтная личность) и психолингвистическими (недостаточная языковая компетентность) [Котюрова 2011: 272–275]. Это обусловлено экстралингвистически, особой формой синтеза знаний и ценностных представлений. Так как сфера исторического познания находится на грани между наукой и идеологией, в силу этого в ней могут проявляться две

противоположные тенденции: научная толерантность, с одной стороны, и идеологическая ангажированность, с другой.

В толерантном историческом дискурсе идеологическая и научная формы знания разграничиваются. Подробнее об этом пишет исследователь современной философии истории Э.Н. Лооне: «Необходимо остерегаться иллюзии, будто результат пересечения научного познания и форм идеологии является благодаря такому соединению более «глубоким» знанием, приводит к большему знанию, познавательно превосходит просто науку. Утверждение ценностей не тождественно познанию. Конечно, возможна научная идеология, в т.ч. научная историческая идеология. В научной идеологии исходят из научно установленных фактов, но, тем не менее, различие науки и идеологии не снимается. При переизложении дезигнативного текста оценочным языком знаний не прибавляется. Прибавляется нечто другое. Если мы хотим установить не «как это было» или «почему это было», а «хорошо или плохо, что это было так», – то мы должны пользоваться ценностными выражениями» [Лооне 1980: 85].

Кроме того, в каждом конкретном случае на толерантности / интолерантности исторического дискурса сказывается обусловленная личностными характеристиками индивидуальность авторского сознания. Толерантность немислима без учета авторской рефлексии по поводу осуществления своих действий: субъект познания на каждом этапе создания текста сознательно координирует свою деятельность, тем самым регулируя отношения в процессе коммуникации [Котюрова 2011: 267; 284].

Именно толерантность по отношению к другому вынуждает автора текста выполнять ментальные действия по формированию информационного пространства для читателя, т.е. описывать, определять, объяснять, иллюстрировать и т.д. Исторический текст представляет собой не только средство хранения информации, но и средство полисубъектной, полилогической коммуникации в процессе познавательной деятельности, в рамках которого обнаруживаются возможности проявления толерантного / интолерантного отношения автора текста к другому субъекту коммуникации разных уровней обобщения – личности, группе, социуму.

Лингвистическая компетентность историка – одна из составляющих его профессионализма: «историк как профессионал не имеет права формулировать утверждения, вступающие в противоречие с твердо установленными историческими свидетельствами (фактами)» [Зуев, Кротков 2010: 63]. Однако поскольку «ретроспективное объяснение (как и историческое предвидение) хрупко, факты слишком тесно переплетены с интерпретациями, невозможно установить строгое различие между данными и выводами» [Арон 2010: 8–11], то сам способ формулирования утверждений в историческом дискурсе должен основываться на принципе отказа от категоричности («нерешающая диалектика» в терминологии А. Мегилла). Этот принцип предполагает, что историк оставляет свое суждение «в пространстве между противоречивыми

установками и утверждениями» [Мегилл 2007: 72]. Толерантная история не претендует на истинность в абсолютном смысле, но стремится к правдивости, то есть к обоснованности. Обоснованность означает ясность и аргументированность изложения исторического материала. «Четкая аргументация включает в себя, во-первых, корректное использование свидетельств, приведение концептуальных и контрфактических аргументов – там, где это требуется – и постоянные усилия соизмерять весомость своих утверждений с силой того, что они подтверждают. Безусловно, в истории приемлемы (и даже неизбежны) и гипотеза, и рассуждение. Но гипотезы и рассуждения должны быть строго идентифицированы как таковые, и всегда необходимо иметь действительно весомые причины для их использования в работе» [Мегилл 2007: 89].

Переходя от рассуждений теоретического плана к анализу эмпирически наблюдаемых явлений, отметим, что в текстовой ткани можно обнаружить целый арсенал языковых средств, ориентированных на реализацию различных когнитивно-речевых стратегий, в том числе – на актуализацию толерантности исторического дискурса, нейтральный характер изложения фактов или же, наоборот, на ангажированную передачу информации, имплицитное внедрение идеологических смыслов. В каждом конкретном случае субъект исторического дискурса предпринимает особые мыслительные и коммуникативно-речевые действия при вербализации исторического знания. Историк как автор текста сталкивается с проблемами текстового формулирования, то есть с тем, «как с помощью особой – той и не иной – организации языковых единиц и форм представить ментальное содержание в адекватной текстовой форме» [Чернявская 2011: 82].

Обратимся к примеру из книги Нормана Лоуи *Mastering Twentieth-Century Russian History* – обширного и подробного труда об истории России новейшего времени. В главе, посвященной периоду НЭПа, автор пишет:

*“On the question of how long it was intended to continue NEP, it is difficult to be certain. At first the impression given was that it was only temporary; according to Bukharin: ‘we are making economic concessions in order to avoid political ones. The NEP is only a temporary deviation, a tactical retreat, a clearing of the land for a new and decisive attack of labour against the front of international capitalism.’ Lenin himself compared it with the Japanese attack on Port Arthur during the Russo-Japanese War: the first attack had failed, so then the Japanese halted, retreated for some distance and rethought their strategy; later on a second attack was launched but with more careful preparation, and this time it succeeded. The lesson to be drawn was that some failures were necessary in order to find the best method. (...)*

*The NEP continued until the spring of 1928 when it was abruptly abandoned on the orders of Stalin. Judging from the statistics, the policy seems to have been reasonably successful and by 1926 the government could claim with some justification that it had achieved its immediate aim. Production in all sections of the economy had improved significantly and in most commodities it was not far off the*

1913 levels. Given the territorial losses at the end of the World War One and the war with Poland, this was a considerable achievement. (...)

*One can never be quite sure how reliable statistics are; the problem with these particular statistics is that they are mainly from Soviet sources and so could have been exaggerated to make the communists' achievement appear better than it really was. On the other hand the 1913 statistics are from official tsarist sources, so they too could have been inflated*" [11, p.160–162].

Данная цитата, в которой содержится ряд безличных и обобщенно-личных конструкций, отражает такое нормативное, типологически обусловленное свойство текста, как неличная манера изложения. Присущий данному конкретному тексту и жанру исторической монографии в целом стиль письма имеет строго унифицированный, стандартизованный характер: субъективное исключается и подводится под общее. Приведенный фрагмент выдержан в нейтральной тональности. Это выражается в использовании лишь тех синтаксических построений и того пласта лексики, которые традиционно соотнесены со сферой научной коммуникации, в отсутствии ссылок на авторское «я» при формулировке высказываний.

Для иллюстрации некоторых принципов употребления терминологической лексики обратимся к книге Р. Конквеста *Russia After Khrushchev*, выпущенной издательством Pall Mall Press в 1965 г. в рамках серии публикаций под общим заголовком WORLD AFFAIRS SPECIALS. Текст дает богатый эмпирический материал для лингвистических наблюдений, в частности – над характером употребления специальной терминологической лексики, о чем свидетельствует, например, такой фрагмент:

*“There is, as we have said, the other side of the coin: **ideology**. In this aspect, the main role of ideology is to provide justification and self-justification for an “elite” **method of rule**.*

*Even this is not a new **phenomenon**. We may compare it with the **autocracies** of the Metternich period in Central Europe. In the 1830's and 1840's, the Austrian Empire and other states were ruled by a **bureaucracy** and police devoted to the **principles of legitimism**, a **conservative political theory** providing most of the comforts of a modern ideology – and approved by Marx's predecessor, Hegel. The Metternich **type** of state was not, indeed, **totalitarian** in the modern sense. But this was partly a **result** of primitive **techniques**. In principle, the police claimed rights of thought control not much different from those seen in the Soviet Union today.*

*A further **parallel** at once presents itself, in that all the progressive and healthy **elements** in the **legitimist states** of the time – the writers, the students, and, in a less conscious and obvious way, the workers – were more or less opposed to the controllers of political power. So were the minority nationalities: Russian troops putting down the national and democratic revolution in Hungary in 1849 in the interests of a super-authoritarian, antiliberal idea must remind us very strongly of the events of 1956.*



*Marx had spoken of the “simple laws of ethics and justice by which individuals must be guided in mutual relationships and which must be supreme laws of conduct between states.” This now gave way to the **theory** that anything weakening the Party’s grip was bad – a **formulation** justifying the terrible excesses in which Khrushchev tells us Stalin indulged. Intellectual life moldered: A single philosophy was taught in the universities; rules were laid down for literature; crackpot doctrines were enforced on scientists by decision of the politicians of the Central Committee. And at the same time, it became impossible to discuss political and economic questions properly” [10, p.18–19].*

Оставляя за пределами нашего анализа правомерность проводимых исторических аналогий, сосредоточим внимание на некоторых особенностях языкового оформления данных рассуждений. Примечательно в этой связи то, что характерные для академического стиля изложения общенаучные (*aspect, phenomenon, formulation, doctrines* и др.) и частнонаучные термины (*method of rule, autocracies, principles of legitimacy, conservative political theory, legitimist states* и др.), соседствуют здесь с лексическими единицами, обладающими ярко выраженными эмотивными и оценочными коннотациями (*crackpot, Party’s grip, bad, terrible excesses, troops, super-authoritarian*), а также с лексическими единицами, характерными для разговорной речи (фразовые глаголы *put down, laid down*). Вкрапление иноязычных элементов иллюстрирует градуальный принцип реализации текстовой категории логичности, влияние авторской индивидуальности на общий стиль изложения, желание добиться большей выразительности и экспрессивности речи, в том числе – для оказания эмоционального воздействия на читателя.

Примером идеологически ориентированной исторической прозы, на наш взгляд, может служить сочинение Т. Клиффа. О его политической ангажированности можно судить, в частности, по такому фрагменту:

*Hence the appearance of the **tolkach** – the supply expeditor – who, quite illegally, takes an enormous commission for acquiring materials, machines, etc. Hence also the great importance of **blat**, or personal influence, for acquiring this equipment to which the factory manager is not entitled. Russian publications give ample testimony that it is a major phenomenon there. Another necessary by-product of irrationality and arbitrariness, which serves to aggravate both, is the multiplication of contradictory control systems to which we referred above [9, p.56].*

Обращает на себя внимание тенденциозное использование ксенонимов *tolkach* и *blat*, относящихся в русском языке к разряду стилистически сниженной лексики, однако в данном тексте употребляемых в качестве своего рода «терминов», сопровождающихся краткими «дефинициями». Также примечательно анафорическое расположение маркеров каузальной связи и введение одного из них в форме пресуппозиции (*Another necessary by-product of irrationality and arbitrariness*), позволяющей внедрить некритически воспринимаемую информацию.

Оговоримся, что приведенные фрагменты экземпляры и являются единичными, наиболее типичными примерами, заимствованными из описанного текстового корпуса.

**Подводя итог** наших рассуждений о диалектике конвенционального и индивидуального в историческом дискурсе, считаем необходимым особо подчеркнуть, что принципиальной особенностью данного дискурса является сосуществование в нем различных типов знания: научного, публицистического, идеологического, эстетического. Этим предопределяется сложность методологических канонов исторического знания, их неоднозначность, жанровая обусловленность. Соответственно, своеобразное сочетание этих типов знания, осложненное «человеческим фактором», т.е. авторской индивидуальностью историка, предопределяет вариативность изложения истории, которая неустранима, присуща историческому знанию имманентно. Именно поэтому особо значимо такое качество исторического дискурса, как толерантность. Коммуникативно-познавательную категорию толерантности, ввиду их многоаспектности и интегративности, можно рассматривать – применительно к интересующей нас отрасли мыслительной деятельности – по меньшей мере, в трех ракурсах: 1) мировоззренческом: соблюдение ценностных ориентиров и принципов консонансного сосуществования людей, сотрудничество, уважение к чужому мнению, взаимопонимание и т.д.; 2) профессиональном: следование дисциплинарным требованиям, предъявляемым к профессии историка, корректное использование свидетельств, рациональное отношение к исторической фактологии, принцип «не оправдывать и не осуждать», разграничение идеологической и научной форм знания и т.д.; 3) лингвистическом: языковая компетентность историка, отказ от категоричности, стремление к обоснованности и ясности суждений, четкая аргументация. Как справедливо отмечают отечественные ученые К.А. Зуев и Е.А. Кротков [Зуев, Кротков 2010: 62–63], принципы толерантности призваны способствовать более полной и точной реконструкции социального прошлого, отсутствию ангажированности, отказу от заготовки «исторических аргументов» для политического дискурса в условиях, когда претензии на преимущественное право обладания «исторической правдой» способны вызвать реальные конфликты.

## **ЛИТЕРАТУРА**

1. Арон Р. Измерения исторического сознания / Р. Арон. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010.
2. Зуев К.А. Рациональность: дискурсный подход / К.А. Зуев, Е.А. Кротков. – М. : Изд-во РАГС, 2010.
3. Ильин В.В. Теория познания: Эпистемология / В.В. Ильин. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.

4. Котюрова М.П. Идиостилика научной речи. Наши представления о речевой индивидуальности ученого : монография / М.П. Котюрова. – Пермь, 2011.
5. Лооне Э.Н. Современная философия истории / Э.Н. Лооне. – Таллин : Ээсти раамат, 1980.
6. Мегилл А. Историческая эпистемология : научная монография / А. Мегилл ; пер. М. Кукарцевой, В. Кашаева, В. Тимонина. – М. : Канон+, 2007.
7. Савельева И.М. Знание о прошлом: теория и история : в 2 т. / И.М. Савельева, А.В. Полетаев. – Санкт-Петербург : Наука, 2003.
8. Чернявская В.Е. Коммуникация в науке: нормативное и девиантное. Лингвистический и социокультурный анализ / В.Е. Чернявская. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.
9. Cliff T. Changes in Stalinist Russia. 1958. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.marxists.org/archive/cliff/works/1958/xx/changes.htm>
10. Conquest R. Russia After Khrushchev / R. Conquest. – New York – London : Columbia University Press, 1965
11. Lowe N. Mastering Twentieth-Century Russian History / N. Lowe. – London : Palgrave Macmillan, 2002.

**Елена Александровна Бобко**, кафедра теории языка и переводоведения гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов; e-mail: [yelena.bobko@yandex.ru](mailto:yelena.bobko@yandex.ru)